**Константин Леонтьев как орудие русской всеотзывчивости**

Сергеев С. М.

Меня уже много лет занимает удивительный феномен совершенно очевидного отторжения Константина Николаевича Леонтьева его собственной родной культурой. Легче всего отделаться от этого факта сакраментальным: нет пророка в своем Отечестве. Когда-то ответственность за него можно было возложить на "либеральный террор", позднее — свалить на Советскую власть… В конце 80-х — начале 90-х я искренне думал, что "неозападники" специально "затирают" неудобного им во всех отношениях автора "Среднего европейца…". И вправду, — разве не замалчивали "русского Ницше" в Российской Империи, разве не запрещали великого "выбивателя стекол" в "стране победившего социализма", разве не старались задвинуть "Лермонтова русской философии" на задворки интеллектуальной жизни "демократической России" (чего стоит хотя бы отсутствие леонтьевских трудов в многотомном приложении к "Вопросам философии", при наличии в нем Писарева, Ткачева, Потебни, Кавелина и проч.). Но прошли годы — ситуация изменилась принципиально: оппоненты и запретители Леонтьева наскучили всем, кроме консерваторов либерализма и реакционеров коммунизма; бестселлерами стали книги Тихомирова и Меньшикова, Юнгера и Дрие ла Рошеля; наконец — слыханное ли дело! — Пушкинский Дом взялся за Полное собрание сочинений и писем самого Константина Николаевича. Автор "Византизма и Славянства" на наших глазах приобрел принадлежащий ему по праву статус классика. Но, положа руку на сердце — много ли у него даже и сейчас настоящих, искренних поклонников? Розанов, предсказывавший, что таковых будет "2-3, много 20-30" не слишком сильно ошибался… Сравните скромный успех Леонтьева с триумфальным шествием того же Розанова или с уже просто неприличной для философа популярностью Бердяева… Константина Николаевича уважают очень многие, но любят действительно единицы. Да, он без всякого сомнения — классик. Но я не могу не согласиться и с моим старшим другом, известным скульптором Петром Павловичем Чусовитиным, утверждающим, что Леонтьев — маргинальное явление в русской культуре. В общем, какой-то странный, загадочный, маргинальный классик… В чем причина этого парадокса?

Первое, что сразу же приходит в голову — слишком резкое несоответствие леонтьевских идей гуманизму, владеющему не только сознанием, но и, кажется, даже бессознательным нашей интеллигенции от Радищева до Сахарова. Государственная мощь, духовная дисциплина, воинские доблести, воспеваемые и культивируемые Константином Николаевичем — кошмары типичного русского интеллигента, вызывающие у него уже более трех столетий прямо-таки сартровскую "тошноту". Кроме того, воспитанника гуманистической культуры не может не раздражать неверие Леонтьева в то, что "человек — это звучит гордо", или что "человек создан для счастья, как птица для полета" и т.д. Безочарованный реализм мыслителя в отношении "человеческого, слишком человеческого", его неотразимая критика благодетельного и всеразрешающего прогресса (из наших классиков, пожалуй, только Боратынский может здесь с ним соперничать) способны напрочь лишить современного индивида интеллектуального и душевного покоя (если, конечно, у него сохранились еще интеллект и душа). "Пища крута", — как сказал сам Константин Николаевич. "Леонтьев выглядит убедительнее, но, если с ним согласиться, то жить не захочется", — с замечательной простотой передала мне свои впечатления от изученного ею спора Леонтьева и Достоевского одна неглупая одиннадцатиклассница. Лучше не скажешь…

Но, в конце концов, гуманизм — явление, привнесенное к нам извне. Главный же корень идейного изгойства мыслителя, которого Лев Толстой считал стоявшим головой выше всех русских философов, произрастает непосредственно из национальной почвы. Есть и в идеях, и в самой ментальности Леонтьева что-то глубоко нерусское — об этом еще в начале ХХ века проницательно писали Бердяев и Сергей Булгаков. Какие бы блестящие филиппики не выходили из под его пера, сколько бы не восхищался Константин Николаевич красочностью Азии, он оставался истинным европейцем, европейцем до кончиков ногтей. И цену подлинной европейской культуре он хорошо знал: "Если завтра вся бы романо-германская Европа провалилась бы в глубь океана, как Атлантида, и можно бы было ее судить с полным историческим беспристрастием, — то, конечно, все бы оставшиеся на земле люди должны бы были согласиться, что такой великой, сильной и экстенсивной культуры до нее не было. И едва ли будет и после нее!"

Весьма характерно, что творчество Леонтьева в нашей литературе решительно стоит особняком, а в европейских — имеет многочисленные параллели. Сравнение с Ницше стало уже банальностью, не перестающей, однако, удивлять близостью исходных позиций русского и германского мыслителей, никогда даже не слыхавших друг о друге. Вполне очевидна перекличка и с французскими католическими неоромантиками конца XIX века — Барбе д'Оревильи, Вилье де Лиль-Аданом, Гюисмансом, Леоном Блуа… С.Л. Франк вспоминал в этой связи Бодлера и Ибсена. Ю.П. Иваск подобрал еще более экзотические аналогии: Гобино и Доносо Кортес. Ю.С. Карцов называл Константина Николаевича "русским Флобером". Действительно, "леонтьевским" афоризмам автора "Госпожи Бовари" несть числа: "эстетика есть истина", "масса всегда состоит из идиотов", "я ненавижу демократию"… Ну и наконец: "Что касается прогресса, я плохо схватываю идеи не совсем связные. Все, что в этом направлении — мне докучает безмерно. Современную тиранию я ненавижу, потому что она глупа, слаба и сама себя боится, но к древней тирании я питаю глубокий культ и признаю ее величайшим выражением человеческого духа".

А вот несколько параллелей, обнаруженных лично мной. Честертон в "Оротодоксии" (1909) утверждает, что "христианству всегда была присуща здоровая ненависть к розовому" ( как не вспомнить леонтьевские инвективы против "розового христианства" Толстого и Достоевского). Жорж Бизе восклицает в одном из писем: "Ваш прогресс, неизбежный, неумолимый, убивает искусство. … Общества наиболее зараженные суевериями были великими двигателями в области искусства… Как музыкант, я объявляю вам, что, если вы уничтожите адюльтер, фанатизм, преступность, заблуждения, сверхъестественное, — не будет никакой возможности написать ни одной ноты". Если бы не "музыкант" и не "ноты", можно было бы обмануться и принять сей текст за фрагмент неизвестного письма автора "Среднего европейца…"

Перенесемся из царства муз в политическую жизнь Европы 1920-1930-х гг. Когда Муссолини попросили в одной фразе выразить смысл фашизма, он ответил: "Мы против удобной жизни". Пусть не всю леонтьевскую философию, но одну из ее важных сторон эта сентенция выражает очень точно. Вообще, по стилю своему (культ силы и войны, антилиберализм, активизм) Леонтьев более всего напоминает лидеров итальянского фашизма, правда, скорее д'Аннунцио, чем Муссолини.

Примеры можно множить и множить… Но и так очевидно: Леонтьев — явление именно европейской культуры, возникшее в самом авангарде ее движения, на полшага опережая самых смелых его разведчиков. Таких европейцев, как Константин Николаевич у нас можно пересчитать по пальцам. Конечно, какие-нибудь пыпины, стасюлевичи, лавровы были гораздо более образованными, чем он. Но одно дело — книжки, другое — жизнь. Леонтьев — именно органический европеец, каким-то чудом впитавший века западной культурной работы не в сознание только, но, кажется, в саму кровь. Это — дар, природа, а не приобретение ума. Перефразируя Бердяева, Степуна и П.П. Перцова, я бы назвал Леонтьева романско-католическим типом на русской почве. Иными словами, он принадлежит к направлению европейской мысли, утверждавшему как основу общественного бытия иерархизм и аристократизм.

Иерархический принцип для Леонтьева гораздо важнее монархического. "Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем монархия — объясняет он, — … Сословная монархия, конечно, лучше и тверже аристократической республики, но аристократическая республика все-таки надежнее эгалитарной монархии…" Не очень много мы найдем в его трудах рассуждений о сущности монархической государственности, зато более чем достаточно — о роли родовитого дворянства и о неких харизматических "вождях", которые будут "властвовать беззастенчиво" и в которых надо "верить". Ни о каком императоре, короле или царе он не говорит с таким воодушевлением, как о Бисмарке и Скобелеве. Гибель сословности есть гибель культуры — вот основной тезис леонтьевской социальной философии. В противоположность основному направлению русской литературы XIX века с ее "народопоклонством", с ее "униженными и оскорбленными", Константин Николаевич проповедовал, что "молодой, красивый, храбрый, знатный и богатый воин… это вечный и лучший идеал человека в земной жизни. Поэт и монах — вот только кто может равняться с воином". Соответствие своему идеалу в отечественной словесности он находил только в двух толстовских персонажах — Андрее Болконском и Алексее Вронском. Яркие, сильные личности, умеющие повелевать "массой" — главный столп государственного здания: "…Я за православную Родину меньше буду бояться с такими … людьми, как Скобелев, Лермонтов, Потемкин Таврический, чем с такими … как …Акакий Акакиевич и даже Максим Максимыч…"

Что такое аристократизм в метафизическом плане? Это — форма. Чем оформленнее явление, чем строже его границы, тем оно благороднее. Именно яркость и четкость формы создали неотразимое обаяние романо-германской цивилизации. Естественно, что у Леонтьева категория формы является ключевой: "Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. … Страстная идея ищет всегда выразительной формы". С этой точки зрения Россия казалась Константину Николаевичу страной еще не нашедшей своего неповторимого стиля и, следовательно, пока еще не могущей претендовать на статус особого культурно-исторического типа. Леонтьевские требования к оригинальности были немалыми: "…Мы желали бы, чтобы Россия ото всей Западной Европы отличалась настолько, насколько Греко-Римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории или наоборот". С высоты такой задачи понятно, почему мыслитель "готов был ненавидеть русский ум и русский вкус за недостаток творчества и стиля", почему он горько жаловался, что "до сих пор, кажется, в истории не было еще народа — менее творческого, чем мы. …Мы сами, люди русские, действительно, весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда ничего действительно оригинального, поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не могли".

Нужно ли еще объяснять причины леонтьевского одиночества? Россия — страна антиаристократическая еще в большей мере, чем антилиберальная (кстати, а нет ли между аристократизмом и либерализмом, при всей их внешней несхожести некой генетической связи?). Русские — природные демократы (но не либералы — "дьявольская разница!"). Об этом писал как раз в связи с нашим героем Бердяев, но есть авторитеты и посолидней, как будто заранее ответившие будущему идеологу русского аристократизма, пребывавшему тогда еще в самом нежном возрасте, и предсказавшие тщетность всех его усилий. Хомяков: "…Я знаю, что даже многие из моих соотечественников желали бы видеть в нас начала аристократические и гордость германскую … Но чуждая стихия не срастается с духовным складом славянским. Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы… зародыш будущей жизни мировой — не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженник и разночинец…". Пушкин: "Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т.д. В России ничего подобного. В нее не верят".

Сословность в России — не чета западной — была искусственным созданием самодержавия, а не органическим творчеством нации. Леонтьев, между прочим, это прекрасно понимал, но думал, что "это особого рода искусственность естественна для России". Я уже не говорю о том, что аристократизм подразумевает такое грешное чувство, как гордыня. Русский смиренный демократизм гораздо ближе к евангельским заветам, и потому не большие ли христиане Акакий Акакиевич и Максим Максимыч, чем Вронский и Печорин?

Глядя на Отечество европейскими глазами Леонтьев просмотрел его подлинное своеобразие. Чая узреть в нем новые, небывалые национальные формы культуры и жизни, он не заметил, что Россия — стихия, а не упорядоченная система. Что ее сущность не видна "гордому взору иноплеменному" за носимыми ветром белыми клубами метели, она лишь "сквозит и тайно светит" между ними. Странным образом Константин Николаевич не понял, что самобытность России — как раз в ее бесформенности, в фатальной неспособности к формотворчеству, в постоянном перенимании и приспособлении чужих обличий для хотя бы мало-мальского укрощения "хаоса родимого". Особенность русской цивилизации — перманентный псевдоморфоз, начиная с Х, а, может, и с IX века. Но разве это не оригинально? Тем более, что плоды нашего псевдоморфоза давно уже признаны всем миром за одну из величайших культурных ценностей. Леонтьев был слишком европеец, чтобы понять и принять это. Однако другой великий европеец, Гете, как-то заметил, что во всякой форме, даже самой прочувствованной, есть что-то неистинное…

Замечательной иллюстрацией драмы Константина Николаевича может служить судьба его литературного любимца Андрея Болконского. Князь Андрей, как и Леонтьев — фаустовский типаж: аристократ, рыцарь, интеллектуал, — тонет в русском тесте. Ему нигде нет места — ни в русском мiре, ни на русской войне ему не находится серьезного дела. Как только у него появляется возможность совершить подвиг, злорадная рука автора-народолюбца тут же посылает в него пулю или ядро. Болконский, в сущности, никому не нужен, его все уважают, но никто не любит. Ему просто ничего другого не остается, как умереть. Он не "герой романа" России, она любит других: старую бабу Кутузова, смиренника Каратаева, расхлебеню Тушина, вечно ничего не понимающего Пьера, умных не "умом ума, а умом сердца" Николая и Наташу… Они бесформенны и потому причастны русской стихии, не принимающей в себя слишком "твердых" Болконских и Леонтьевых.

Но неужели Россия держится лишь на "смирном типе", а "хищный" ей вовсе не нужен? Нет, конечно. Прав Леонтьев, отстаивая необходимость своего и князя Андрея бытия: " … С одними этими только твердыми в скромном долге людьми далеко все-таки не уйдешь! А нужны для великих дел сверх таких людей еще и люди инициативы, люди сильного воображения, люди престижа и даже люди "хищные". Да, конечно, основа России — тушины и каратаевы. Но смогли бы они победить Наполеона без Раевских, Давыдовых, Кульневых, Фигнеров? Позволительно усомниться… Да и реальный Кутузов был не таким уж "смирным", каким его изобразило гениально-тенденциозное перо Толстого. Как ни прекрасна и величественна русская стихия, она без европейского оформления останется бесплодным или даже разрушительным бураном. В одном из писем Леонтьев говорит: "Смолоду … я по идеалу и по вкусам был европеец…, а по действиям — русская дурацкая натура; после 30 стал вырабатываться наоборот, т.е. старался утвердить в себе по мере сил западную выдержку и восточные идеалы…". Этот автопортрет может служить образцом представителя русской элиты, которому по силам сражаться на равных с таким сильным врагом, как западный аристократ.

Обрушиваясь на проповедь Достоевским "русской всеотзывчивости" (реальность коей он, кстати, не отрицал), Леонтьев не осознавал, что сам давно является ее верным и послушным орудием. У "всеотзывчивости" этой много очевидных минусов — уж очень часто она напоминает бескорыстную проституцию. Но только благодаря ей Россия смогла получать необходимые ей для развития "европейские дрожжи" в виде узкого слоя русских европейцев, создавших высокую культуру и сложную государственную машину Российской Империи. Судьба людей этого слоя, к которому принадлежал и наш герой, глубоко трагична — они никогда не чувствовали себя вполне дома на Родине, слишком вжившись в свои перевоплощения. Потом этот слой был сметен возмутившейся русской бесформенной стихией… Но время показало: без аристократии русских европейцев Россия существовать не может.

Да, Леонтьев никогда не станет "ядром" нашей культуры. "Ядро" — Достоевский и Толстой, Марей и Каратаев. Но для сохранения "ядра" нужен стальной болконско-леонтьевский панцирь.